

Андрей Белый

ПРИЗРАКИ ХАОСА

ПУБЛИЦИСТИКА

T8RUGRAM

УДК 82-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Б43

Белый, А.

Б43 Призраки хаоса / А. Белый. — М. : Т8 Издательские технологии / RUGRAM, 2018. — 140 с.

ISBN 978-5-521-78948-1

Андрей Белый (1880–1934) — известный писатель Серебряного века, поэт, критик, мемуарист, один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма.

«Призраки хаоса» — сборник публицистических статей, в которых автор анализирует творчество известных писателей и поэтов: Валерия Брюсова, Леонида Андреева, Дмитрия Мережковского, Александра Блока, Зинаиды Гippiус и многих других. Эта книга позволит читателю почувствовать неповторимую атмосферу Серебряного века и посмотреть на мир глазами гениальных людей той эпохи.

УДК 82-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-78948-1

© Т8RUGRAM, оформление, 2018
© Т8 Издательские технологии, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ	5
Из воспоминаний.....	5
ЧЕХОВ	15
МЕРЕЖКОВСКИЙ	23
Силуэт	23
Трилогия	31
«Гоголь и Черт»	49
«Не мир, но меч»	53
ГИППИУС	59
«Алый меч»	59
Литературный дневник	64
«Черное по белому»	69
БРЮСОВ	73
Поэт мрамора и бронзы	73
«Огненный Ангел»	80
БЛОК	85
«Нечаянная Радость»	85
Обломки миров	92

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ	97
Силуэт	97
РЕМИЗОВ	105
«Пруд»	105
«Чертов лог»	108
ШЕСТОВ	113
Начала и концы	113
АНДРЕЕВ	119
Призраки хаоса	119
Второй том	122
Смерть или возрождение?	126
«Анатэма»	135

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Из воспоминаний

Есть спутники вашего детства: имена и представления, поразившие ребенка чем-то необычайным. Фантазия начинает усиленно работать, и слова, подчас совершенно просто сказанные, покрываются золотой фатой сказки. И имена, подчас незнакомые, как-то ярко сияют.

Я познакомился с Вл. С. Соловьевым сравнительно поздно; гораздо раньше я о нем слышал.

Не знаю, кто, где и когда впервые заговорил о нем при мне. Но еще в раннем детстве редко, но ярко проходил он в моем воображении. Станным и страшным казался он мне. Может быть, это было оттого, что, будучи с детства один среди взрослых, я прислушивался внимательно к полупонятым словам, к отвлеченным спорам. И незнакомые имена западали в память. Почему-то ярко запали имена Вейерштрассе и Соловьева. Вероятно, при мне кто-нибудь из «университетских» выразился в таком тоне: «Станный человек Владимир Соловьев». Или дама сказала: «Загадочный». А детское воображение заработало. Мне стало казаться, что Владимир Соловьев — странник, шествующий с посохом по городам, селам, лесам. Он — нечто вроде вагнеровского Wanderer'a: появляется то в Москве, то в Аравийской пустыне. Мой мир сказочных представлений пересекал он редко, но пересекал. Куда? В Аравию, на север? Для меня был он одним из музыкантов, что проходят на север в «Драме жизни», возвещая приближение горячки. Это было провиденциально: Владимир Сергеевич

был для меня впоследствии предтечей горячки религиозных исканий.

Помню, однажды раздался звонок. Отца не было дома. К нам вошел, как мне казалось, кто-то сухой, длинный, черный, согбенный, с волосами, падающими на плечи, с длинной черно-серой бородой, с изможденным лицом и серыми глубокими глазами. Сел — и показался добрым и маленьким, потому что длинные были его ноги; сидел с высоко поднятыми коленками и смеялся большим-большим ртом, протягивая мне свою костлявую, но какую-то бессильную, длинную руку. Посидел и исчез. Из разговора матери с отцом я понял, что это был Владимир Соловьев. Приходил по какому-то делу, но мне он явился, как являются сказочные незнакомцы из Гофмана. Взрослые говорили, что в пустыне его приняли за черта. Мне казалось, что он вышел из смерчей, самума, пришел к нам; а когда вышел за дверь, то смерчем расклубился, метелью пронесся. Греза стала реальнее.

Вскоре опять я его видел у профессора Стороженко. Опять поразило его в жестокой думе сожженное лицо среди благообразных, довольных лиц окружающих. Казалось, что голову вот-вот положит он на колени, потому что колени его длинных ног высоко поднимались, а туловище казалось коротеньким. Мы, дети, бегали среди гостей, стараясь приколоть к сюртукам бумажные хвостики. Мы, дети, с шутливым страхом косились на Соловьева. А *бука* Соловьев добродушно посматривал на нас.

Так сказочно промелькнула фигура Владимира Сергеевича в далеком детстве моем. И позднее я встретился с ним. Но только последняя встреча, незадолго до его смерти, имела для меня роковой и глубокий смысл.

Громадные очарованные глаза, серые, сутулая его спина, бессильные руки, длинные, со взбитыми серыми космами прекрасная его голова, большой, словно разорванный рот с выпяченной губой, морщины — сколько было в облике Соловьева неверного и двойственного! У французов есть одно слово, не переводимое на русский язык. Оно характеризовало бы впечатление, которое оставлял на окружающих Владимир Сергеевич. Француз сказал бы про него: «Il était bizarre». Гигант — и бессильные руки, длинные ноги — и маленькое туловище, одухотворенные глаза — и чувственный рот, глаголы пророка, и — посмотрите: вот мимо проносят поднос с печеньем: длинная рука Соловьева протягивается к печенью, с виновато-беспомощной улыбкой он щурится, наклоняясь над сладостями, осматривает каждую конфету, каждое печенье; цепкие пальцы возьмут то и это, благодарно закачается перед прислугой, растеряется. Потом обернется к собеседнику, забудет старательно выбранную кучку сладостей, скажет одну только фразу (говорит он мало), но слово его брызнет зарей. Бессильный ребенок, обросший львиными космами, лукавый черт, смущающий беседу своим убийственным смешком: «Хе-хе», и — заря, заря!

Соловьев всегда был под знаком ему светивших зорь. Из зари вышла таинственная муза его мистической философии (*она*, как он называл ее). Она явилась ему, ребенку. Она явилась ему в Британском музее, шепнула: «Будь в Египте»¹. И молодой доцент бросился в Египет и чуть не погиб в пустыне: там посетило его видение,

¹ Этот факт, совершенно реальный, описал он в поэме «Три свидания».

пронизанное «лазурью золотистой». И из египетских пустынь родилась его гностическая теософия — учение о вечно женственном начале божества. Муза его стала нормой его теории, но и нормой его жизни. Можно сказать, что стремление к заре превратил Соловьев в долг, и раскрытию этого долга посвящены восемь томов его сочинений, где тонкий критический анализ чередуется с расплывчатой недоказательной метафизикой и с глубиной мистических переживаний необычайной. Дешифруя его учение, мы встречаемся с громадной эрудицией и с дьявольским умением полемизировать, которым Соловьев так часто злоупотреблял: как из пушки, стрелял Соловьев своей критикой и по врагам, и по друзьям, и — увы! — по воробьям. Но если вы пожелаете узнать, для чего нужно было Соловьеву всю жизнь громить, бичевать и взывать, то под его критикой и полемикой вас встретят бледные, безжизненные схемы метафизики. Но самая эта метафизика для Соловьева — только скромная вуаль над ему одному ведомой тайной: эта тайна — голос заревой его музыки. Этот голос ему шептал: «Будь в Египте». Но этот же голос шептал ему: «Полемизируй со Страховым, ибо Страхов — эмблема смерти». Такова жизнь Соловьева — всегда и везде быть озаренным. Заря принимала образ прекрасной музы и манила его. И Соловьев из Hôtel d'Angleterre в Петербурге бросался на Сайму, потом в Москву к Н. Я. Гроту, после чего Грот начинал заниматься чуть ли не спиритизмом. А Соловьев отправлялся в Египет.

Помню большие коричневые свечи, которые привез он своему брату, М. С. Соловьеву, из Египта. Соловьев всюду как бы ходил с большой коричневой египетской

свечой, невидимой для его маститых и уравновешенных друзей, но, быть может, видимой некоторыми из его друзей, относительно которых ходили слухи, что друзья эти — «темные личности». Вот эти-то темные личности впервые и возвестили о том, что Соловьев — вовсе не философ, а странник, ходящий перед Богом.

Стасюлевич, конечно, не видел свечи в руках Соловьева, друзья-идеалисты, которые все были, по меньшей мере, профессора и все говорили Владимиру Сергеевичу «ты», свечи не видели тоже. Они превратили учение Соловьева просто-напросто в философский идеализм, и даже не в неокантианском смысле этого слова, а просто для них философия Соловьева была удобным средством для борьбы с позитивизмом, с которым Вл. Соловьев если и боролся, то разве в ранней молодости; потом он признал и по-своему осветил контовский позитивизм.

Вот почему чувствовал себя Соловьев одиноким, хотя из одних друзей его и состояло Психологическое общество. И из-за зеленого стола, где раздавались такие важные, такие любезные, казалось бы, для него речи, убегал Соловьев к холодным струям многошумной Иматры или к белым колокольчикам Пустыньки¹, а то и прямо к «подозрительным личностям»: пьянствующим пророкам, юродивым неудачникам, к знакомым нищим или, пожалуй, ко всем без разбора извозчикам, раздавая свои деньги. После кончины философа странные обнаружились его связи со многими «отверженными». Но страннее, что именно к ним-то, пожалуй, и поворачивался Соловьев своим настоящим ликом.

¹ Имение, принадлежащее прежде гр. Толстым, где гостил Соловьев.

Многие увидят в моих словах фантазию, скажут, что про покойного можно писать теперь все что заблагорассудится. Но пусть это же скажут и близкие к Соловьеву лица, знавшие традиции его интимной жизни. Мне приходилось встречаться с Соловьевым и в профессорском кругу. Мне приходилось слышать о нем от его «почтенных» друзей. Но я видел его черновые бумаги, при мне читались его интимные письма. Но я знал о нем из наиболее верного источника: от брата покойного мыслителя, М. С. Соловьева, с которым он был особенно дружен и в семье которого я был принят как родной. В уютной гостиной у Соловьевых проводил я все свободное время, будучи гимназистом, а потом и студентом. Здесь вели мы нескончаемые беседы, и многое в этих беседах касалось прямо или косвенно покойного философа. М. С. Соловьев был замечательным человеком; он умел соединять спокойную уравновешенность, эрудицию с той безграничной свободой, которая не заслоняла от него ничего искреннего, какие бы формы эта искренность ни носила. Он был авторитетом и для своего брата, и для «маститых» друзей Владимира Сергеевича, и для молодой кучки искателей, которых в то время обливали презрением «маститости от схоластики». Вокруг Соловьевых группировались все смелые и искренние, идущие своим путем.

М. С. Соловьев любил в брате своем вовсе не автора восьми томов, а нового человека, услышавшего призыв и в бархатной ласке зари, и в тихом плеске белых колокольчиков: «Сколько их расцветало недавно!» (Вл. Соловьев) Вот почему я не мог не научиться любить в Соловьеве не мыслителя только, но и дерзновенного новато-